

2207

ЗЕМЛЯ ИВАНА

Памяти И. С. Григурко

Я протянул ему «Новый мир» — августовский номер за прошлый год. С новым романом Льва Гинзбурга. Брал читать и вот — возвращаю. Но Иван сразу почувствовал, что возвращаю как-то мешкотно, с легкой грустью, что ли. Он так и встрепенулся весь.

— Слушай, тут ведь о поэтах, о стихах. Тебе нужнее. Дарю!

И начертал на первой странице, где оглавление, прямо по типографскому тексту дарственную надпись. И дату поставил: 1 марта 1982 года. И еще добавил:

— Я вообще ни книг, ни журналов не собираю.

Я знал об этом. Действительно, новомодное увлечение, книгособирательство, прошло мимо Ивана, не задев даже. А читал он много: и русскую классику, и украинскую, и все лучшее зарубежное, и, разумеется, журнальную периодику, так что всегда был в курсе того, чем живет современная проза. Книгой книг считал «Дон Кихота», перачитывал ее не раз и всегда других пытался подвинуть на это чтение. Высоко ставил Распутина, Белова, Григора Тютюнника, внимательно следил за творчеством тех, кто в литературу вошел одновременно с ним. Это были одеситы Анатолий Колесниченко и Микола Суховецкий, сибиряк Василий Афонин, киевлянин Владимир Яворивский. Ценил критическое слово Василия Фащенко. Радовался удачам товарищей, никогда никому не завидовал. Впрочем, нет. Немного завидовал поэтам. Но как завидовал? «Стихи скорей доходят до сердца. Поэт завоевывает слушателей с первых строк. Нам, прозаикам, трудней — повесть или роман вслух не прочитаешь».

Те, кто слышал его устные выступления, вряд ли согласятся с таким утверждением. Он был свой в любой аудитории. И тоже завоевывал ее сразу, потому что каждый раз говорил о самом насущном — о месте человека на земле, о природе, о том, что нужно защищать не только природу, но и человека, о любви, о языке, обедненном нами в житейской круговерти, и его с одинаковым вниманием слушали снигиревские хлеборобы, кривоозерские буряководы, и корабель в касках, и итээрзовцы в надувках.

Впрочем, иногда читал он и стихи. Иван не избегал общей участи: начинал когда-то в армии именно со стихов (а куда денешься от рифм, особенно в юности?). Потом перешел на прозу, но любовь к стихам не миновала, только теперь сочиняли их герои его повестей и романов. Вот эти стихи Иван иногда и читал, по-прежнему продолжая верить, что путь от поэтической строки до человеческой души — кратчайший. (Кстати, в новом его романе «Ватерлиния», который вот-вот выйдет из печати, один из персонажей пишет сонеты — их в книге около десяти, Иван очень любил сонетную форму). А иногда читал Булата Окуджаву, которого тоже любил — еще со студенческих лет. Как сейчас, слышу его поторапливающийся голос:

Всё стало на свои места, едва сыграли Баха...

Когда бы не было надежд — на черта белый свет?

К чему вино, кино, пшено, квнтации

и вам — ботинки первый сорз, которым снесу нет?

Голос его был серьезным, и ироничным одновременно. Вообще ироничность была притягательной чертой его характера. Вспоминаю полутемный кинозал, на экране которого жили герои фильма «Канал» — молодые, задиристые, так непохожие один на другого. Смотрел фильм и украдкой следил за тем, как воспринимает киноверсию своего романа Иван Григурко — он сидел рядом и то усмехался, то пожимал плечами, то вдруг глаза его становились любопытно-удивленными, но все равно — ироничность преобладала!

Кстати, о «Канале». Как только он был опубликован, автор, по известному выражению, проснулся знаменитым. Хлынула волна переизданий: после журнала «Дніпро» роман напечатали в Москве — сначала в журнале, потом в издательстве «Молодая гвардия». Вышло несколько изданий на Украине. А потом Иван стал приносить в наш союз книги, на обложках которых его имя и заглавие были набраны латинскими литерами. И оформление было необычное — на наше не похожее. «Канал» вышел в Болгарии, в Чехословакии, в Германии. Имя Ивана Григурко замелькало в газетах, журналах — в критических обзорах, рецензиях, а Павел Зарубельный свою статью так и назвал: «Григурко открывает двери».

А сам Григурко улыбался, как будто речь шла не о нем, и больше всего ему нравились те критики, которых в «Канале» что-то не устраивало.

— Правильно долбают, — соглашался он. — Только не за то, что нужно. Вот, например, упрекают в репортажности. А для меня это как похвала. Мой роман — проза журналиста. Так он и был задуман.

Он явно прибеднялся, Иван. В книге его жила доженковская традиция — о будничном говорить возвышенно. Молодые скреписты — философы, мудрецы, романтики. Но и веселые, зачастую озорные люди. Талант автора не позволил выпренности коснуться их душ. Они прочно стоят на земле, но небо не чуждо им.

Романтическую настроенность книги впитал в себя и съемочный коллектив «Канала». Фильм снимали в таврийских степях. Там Иван Григурко познакомился и подружился с другим Иваном — Миколайчуком, известным кинорежиссером, который в картине играл сценариста Тимоша Зайченко. В свободное от съемок время писатель и артист приходили к археологам — те, изнывая от зноя, кто в выцветших джинсах, кто в шортах, заросшие бородами, стучались в глубокую древность, вскрывали очередной курган, суля-

щий им новые находки и новые проблемы.

Миколайчук вспомнил фразу Тимоша Зайченко: «Жизнь мчит через нас в две стороны — в прошлое и в грядущее. А мы в самом трудном месте — в современности».

Он произнес это вслух, и один из археологов, лукаво прижмурив глаза, вздохнул:

— Эх, в нашу степную трудную современность, — он вытер локтем пот со лба, — да бутылочку бы холоденькой минеральной...

Наверное, до сих пор вспоминают археологи, как на другой день над местом раскопки завис вертолет (съемочная группа использовала его для поиска натуры), и оттуда на капроновом тросе спустились на землю, чуть не в руки людей, три связанные за серебряные горлышки бутылки шампанского. Из кабины весело помакивал рукой Миколайчук. Археологи грянули дружное «ура!», и громче всех — Иван Григурко, оказавшийся тут же. Закинув голову вверх, он, приветствовал друга каким-то скребком, затороженным пылью тысячелетий...

Григурко вспоминал об этом с удовольствием, а я думал: до чего эпизод этот в духе его прозы! И был уверен, что где-нибудь он непременно все это опишет. Он вообще писал только о пережитом, наболелшем, иначе не мог.

Как-то рассказывал мне о друзьях-детдомовцах, и мне подумалось, что будет повесть и об этом, потому что такое же забывается, это грунт, на котором все выросло. Да и сам Григурко писал: «Память — капризная вещь. Она порою неохотно сохраняет событие, которое ты считаешь очень важным для своей персоны, зато с непостижимой четкостью и свежестью держит в себе какой-нибудь незначительный на первый взгляд случай. И это неспроста. Будем же уважать значительные события, но сбережем и малые воспоминания, они — как корешки, как капилляры-сосуды питают крону нашего бытия любовью к людям и к своей земле...»

Вот с такими мыслями он и над «Далекими селами» работал, воскрешая в памяти все, что связывало его с родной деревней, с военным и послевоенным детством.

— Степная Волярка... Донеда перед глазами сожженная зноем земля, на небе — ни облачка, на горизонте клубится марево. Бабушка спешила утром набрать из колодца хоть немного воды — к полудню там ее не будет уже ни капли. Бывало, воду развозили по хатам в бочке, и была она тогда желанней хлеба. А потом, когда я жил уже в Таврии, видел, какое лихо приносит людям черные бури... Экология — кровное для меня дело.

Так говорил Григурко труженикам полей Ставропольского края, где побывал в свое время с несколькими николаевскими писателями. Он говорил об этом и хлеборобам Изобильного, и овощеводам Никольной Балки, ибо, оказалось, проблема воды и в этих местах стояла остро, и не до всех еще сел дошли тогда ответвления главной оросительной системы.

Иногда Иван исчезал. Редко можно было встретить его в союзе, старался избегать публичных выступлений, почти не появлялся на улице — с головой уходил в работу. Роман «Ватерлиния» рождался так: Иван добился постоянного пропуска на завод «Океан», там обрел много друзей (от большинства скрывал до времени свой писательский замысел), в цех являлся как на работу, потом ушел вместе с новым судном на ходовые испытания...

«Найти романтику среди стальных конструкций и железных секций куда трудней, чем на степном раздолье», — шутило жаловался писателям-коллегам. Но он искал эту романтику и находил: чаще всего в людях, которых умел понимать!

...Порой самому себе ставишь вопрос: чем же тебе мил и дорог тот или иной человек? Ну, таланты, да, ну, содержателен в беседе, терпим к людям, на него не похожих... Все это не то, не те слова.

Я шел в союз писателей и радовался: увижу Григурко. Он всегда скажет что-то такое, что на мгновение все вдруг замолчат, задумаются. И после него стыдно отделываться дежурными словами. Вдруг заметишь, что он никогда не носит с писательским званием, даже чуть стыдится называть свою профессию среди тех, кто мало ему знаком. Танется к рыбакам Кинбурна, к судосборщикам «Океана», к любителям шахмат на скверике возле Советской. Но, как правило, не любит быть на виду — уединение больше способствует раздумьям. Улыбается, когда Сережа, сын, зовет его, как товарища, — «Ваня». На прочитанное тобой новое стихотворение восторженно восклицает: «Ну, ты — король!». (Это у него высшая оценка). Безоглядно хвалит начинающих, что бы они не принесли ему, а когда кое-кто из коллег упрекает его за снисходительность, убежденно утверждает: «Молодых нужно окрылять!». Увлеченно восторгается с экрана ТВ жизнью и творчеством писателя патриарха Адриана Митрофановича Топорова. Дарит тебе стихи ко дню рождения, где есть такое:

Стихов человек хочет,
Не «Лады», не хрусталь,
Как будто без нескольких строчек
Земля ему не Земля!

Ну, вот — все в настоящем времени: «тянется», «улыбается», «восклицает», «хвалит», «утверждает». Как ни горько, а нужно привыкать — «тянулся», «улыбался», «восклицал»... Мечтал закончить повесть о Кинбурнской войне, о егере, о рыбаках и море...

Сейчас мы говорим: «Книги его останутся с людьми». И добавляем: «Григурко все равно будет с нами».

Но сегодня я приду в наш союз, и Ивана там не будет... А в том журнале, что он подарил мне, был напечатан роман «Разбилось лишь сердце мое».

Эмиль ЯНВАРЕВ.